

# Вечернее замужество Греты Гансель / Быль

Category: Hekaýalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Вечернее замужество Греты Гансель / Быль ВЕЧЕРНОЕ ЗАМУЖЕСТВО ГРЕТЫ ГАНСЕЛЬ

Грета Гансель – так стояло в ее поддельном паспорте, стоившем бешеных денег.

Грета следила, как Слава, розовея по цвету вина от радости за себя и за то, что все выходит так славно и гладко, наполняет ее фужер. Вино-квадрат, шашнацать сахеру на шашнацать спирту, попирало геометрию: оно, заключенное в округлую емкость, естественно и легко претворялось в багровую ленту и расплывалось от удовольствия в конечном, пузатом сосуде, где обмирало.

– Достаточно, – лукаво улынулась Грета.

– Доверху, до краев, – заспешил Слава. В его нарочито непререкаемом тоне обозначился суетливый страх.

Грета вздохнула:

– Ты не понял. Вообще достаточно, я больше не буду пить.

Слава подался назад и театрально застыл: одна рука с початой бутылкой, другая – с пустой ладонью, распахнутой укоризненно.

– Как! – огорченно выкрикнул Слава, переборщил и пустил петуха. – Грета Батьковна, так не годится! Не порти обедню, окажи милость!

Делая, как делает напористый танк, когда он ломает несерьезные гражданские баррикады и вминает в землю жалкие надолбы, Слава рухнул на колени, пополз под стол, намереваясь облобызать, обсосать, а то и укусить замшевую туфельку, которая, животным мышинным чувством угадав неизбежное, быстро отпрянула и подобралась.

– Нет, – сочувственно повторила Грета. – Я буду пьяная.

– И отлично! – донеслось из-под стола. Грета подняла скатерть, заглянула на голос. Туфелька ожила и толкнула Славу в лоб.

– Мне нельзя, – на сей раз Грета заговорила с нажимом. Тон ее сделался деревянным, напряженно-безразличным. – У меня была травма мозгов, очень тяжелая. Со мной случаются припадки.

Славина голова, простучав о столешницу, вынырнула наружу. Лицо Славы оставалось лицом ангела, но ангела, уже начавшего движение вниз, в самобытную бездну.

– Что же ты не сказала, – Слава, пряча глаза, прикурил от свечного пламени, купавшегося в жиру. – Я бы и начинать не начал.

Грета отвела прядь богатых волос, нацепила очки, снятые полчасом раньше. Она не ответила и строго взирала на кавалера, который внимательно рассматривал скатерть. В одной руке, не так давно блиставшей урезонивающим жестом, выветривалась сигарета; вторая, приютившая бутылку, с напускным интересом повертывала пустой фужер.

– И какие же у тебя припадки? – спросил Слава вяло, что-то прикидывая в уме.

– Ссусь, – улыбнулась Грета.

– Угу, – Слава вежливо вскинул брови.

Жемчужная и сладкая улыбка Греты стала отталкивающей.

– Не сразу, в конце. Сначала я истошно кричу, мне в стенку стучат, а однажды колотили в дверь, но я этого не помню, мне мама рассказывает. Потом падаю и бьюсь обо все, мне сразу же ложку суют в зубы, чтобы не откусила язык. Один раз его булавкой пришили к воротнику...

– Что – булавкой? – автоматически переспросил Слава.

– Язык. Он западает, можно задохнуться.

Прощание получилось стремительным, оно заняло секунды. Только что Грета делилась со Славой бесславными подробностями падучей; считанные мгновения истекли с того момента, как она всунула лодочку ступни во вторую туфлю, ранее приснятую и качавшуюся на носке – так многие женщины, когда им особенно хорошо и свободно, высвобождают пятку из чопорного вместилища, покачивая туфлей и готовые, пятке своей подобно, выходить из границ; Грета почти разулась, и вот, туфля на месте, и следующий кадр: вроде бы она, Грета, суетится в прихожей, но, может быть, этого не было, или состоялось без осознания и не

запомнилось, приложившись к едва родившимся мифам — вот что случилось с этим событием, так. Кадр оказался двадцать пятым. Полнометражное кино продолжилось на улице. Там шел вполне кинематографический дождь, заунывное экзистенциальное водоизлияние из коллекции парижских младореалистов, молодых львов — давно уже выцветших и пуще прежнего черно-белых.

Грета зацокала каблуками, спеша к себе и стараясь не думать о пылающих славинах щеках, в которых под конец испеклось нечто несвежее, вызывавшее брезгливость и, казалось, давно там бывшее, спрятанное до времени. Вечное, тоскливое узнавание старого. Грета густо, по-рабочему, закашлялась, отхаркнула слюну. Мокрая насквозь, она успела разжалобить и осадить полупустой автобус. Грета села против двух молодцов, бритых налысо, сосавших пиво. Она огладила себя, чуть развела ноги, спрятала очки в сумочку. Жеребцы переглянулись, пакостно гыкнули; Грета со вздохом отвернулась и стала смотреть в запотевшее окно. Ей показалось, будто ее щеки тоже горят, заразившись от славинах, но лед ладони, пробуя жар, натолкнулся на встречный лед.

— Девушка, как тебя зовут, — приснул некто из бритых.

— Девушка, мы хорошие, — гоготнул, может быть, он же.

Грета покачала головой.

— Ой, мальчишки, ой, мальчишки!..

С побитым видом она улыбнулась, предполагая сойти за незнакомку, недоступную лишь по краткости путешествия, но в прочем — податливую, готовую к сумасбродству, покорную силе. С этой сложной актерской задачей она не справилась: что-то неуместное промелькнуло в ее лице, от чего попутчики вдруг замолчали. Они не понимали, в чем дело, ибо не особенно блистали в разного рода пониманиях и прозрениях; господствующее звериное начало предостерегло их от вторжения в порченный мир пассажирки. Грета сообразила, что выдала себя; гнусный чужак, владевший строем ее существования, проявил себя беззвучным ропотом, неуловимой гримасой. Она встала и вышла остановкой раньше, ее не окликнули, не отпустили вдогонку гадость, не спросили у девушки, куда же она, да почему так скоро — висело настороженное молчание, которое было хуже

любого жлобства.

Она побежала по бульвару, почти опустевшему; случайный прохожий, руки в карманы, прошел мимо нее, не взглянув; за ним – сутулая женщина с удивленным лицом, чуть припадавшая на левую ногу. Черная, как головешка, собачница с черной же собачонкой бегом пересекли ей путь и слились с подворотней; дождь усилился, вечер улегся в грубую вату туч. Подбираясь и поджимаясь, слизывая с губ капли, Грета доковыляла (у нее обломился каблук) до пятиэтажного строения. Неустановленные лица с бранными именами оставили на стенах дома печатные непечатные росписи, перемешав их с рисунками детородных органов, воспевавших, казалось, детоубийство, да прибавив еще автопортреты-рожицы, сотворенные по наитию от ядерного клея: все это выглядело убедительными аргументами в защиту аборт. Грета влетела в прихожую. Она, хоть и промокла до нитки, разделась не сразу: прежде, чем сделать это, она, как обычно, обошла свое тесное, неприбранное жилище – сущее лежбище, как определяла сама Грета; нора, где зализывают раны. Обходя помещение, она прятала зеркала. На каждом зеркале, от высокого и мутного трюмо в прихожей, с которого давным-давно спилили резное украшение, бесстыжую глазастую сову, и до самых маленьких, настольных и карманных зеркал, была закреплена шторка – где лоскуток, где траурное полотнище. Такие порядки Грета завела лет десять назад, когда в ней что-то лопнуло, давая выход безжалостным веществам желания, и она, наконец, в достаточной мере возненавидела свое отражение.

Когда зеркала ослепли, Грета вошла в ванную; стянула, ежась, отяжелевшее платье, расстегнула и отшвырнула лифчик с плотными чашечками-обманками, снял трусы, стараясь без нужды не дотрагиваться до сморщенного бурого члена. Грета продрог, мошонка сократилась под орех; от пупка сбегала колючая дорожка: мужской растительный тракт, который еще вчера был выкошен безопасной бритвой, но сегодня уже пустил молодые побеги. Отшвырнув ногой раскисающее белье, Грета, полный грации, переступил через бортик ванны, встал под душ. При этом он избегал смотреть вниз, почитая за лучшее расправить на пальцах под струями пышную гриву, которой завидовали подружки;

запрокинуть лицо. Вода обнимала Грету – та же субстанция, что и уличный ливень, с незначительным изменением качества, но эта малость меняла все. Так и Грета, лишенный положенного ей по строю души, обремененный чуждым анатомическим качеством, сеял вокруг себя мертвящее отчуждение, холод, напрасно мечтая раздаривать радость. Согреваясь, он закипал душой, ей вспоминался Слава – очередной, ничем не отличающийся от остальных слав, считать которых Грета сбился, но от того не менее привлекательный и желанный. Прежние свидания, беспорядочная холостая пальба завершались столь же позорно; Грета, едва в общении наступал перелом, сбегал – ненавидя себя, ненавидя кавалера, он всякий раз выдумывал новую унижительную отговорку; чем гаже он выглядел в глазах визави, тем слаще казалось бесчестие. Не находя возможности как-то иначе подчиниться – а именно подчинения требовало его женское естество – Грета довольствовался тем, что распластывался морально, преобразуя страдательную роль самки в жесточайший душевный мазохизм. Ожесточенно растирая себя ладонями, ребром одной из них Грета скользнул себе в выемку меж ягодиц; не задумываясь, привычно, отщипнул кусок мыла и затолкал его в задний проход. Ненужный пенис напрягся, Грета выгнулся, выдавливая стон; такие вещи не приносили ему полноценного удовольствия, его мучило от самовлюбленных геев – довольных, гордых извращенной гордостью. Ему хотелось еще одной иллюзии, имитации постороннего проникновения.

– Они видят во мне сосуд для низменного употребления, – начал напевать, а скорее, декламировать нараспев, Грета. Он никогда не пел, когда мылся; вместо пения Грета взял себе в правило беседовать с небесами. – А до высокого им дела нет. Они брезгуют мной. Мои уста на замке. Любовь ко внешним... концам, – он с горечью усмехнулся, – и небрежение внутренними... началами... Наедине с собой начитанный Грета изъяснялся высокопарным слогом с истерическими нотками неудовлетворенной женщины. Злословил, меняя мыло, низший мир, в котором великое Андрогинное Слово было предельно унижено и оскорблено материей.

– Звероферма... Им не важна... их не волнует горлица-душа... в

телесном плену... Им хочется мяса... Решено, они получают мясо... Солдатика... найду себе солдатика... Мясной дозор. Пойду в мясное ночное, как вокзальная блядь... В дневное, вечернее... Позор дозора...

Уродливый отросток, низкая выходка божественных сил, забавлявшихся Гретой в утробе, напрягся сильнее и дрогнул, ведя себя независимо и своенравно, ломая Грете всякое удовольствие от иллюзий. Гретиных денег, оставшихся после размена квартиры, хватило на дамский паспорт, но не хватило на скальпель. Доктор, смотревший его, бил по плечу, обещал с панибратской грубостью: “Не унывай! Прорубим влагалище, отпилим яйца...”. Грета ушел от него, как оплеванный. Он видел, как поскуchnел доктор, когда ему прямо признались, что нечем платить. Шутки кончились. Да, господа, с шутками – всё. Вам нужен ангел? Вам незачем ангел, Грета знает – иначе зачем же вы моете хер, когда вынимаете его из ангела? Чудовища! Вам, жеребцам, не до живописи, вы только слизываете масляные краски!

Мучения ради Грета позволил себе почувствовать, что ему хочется извиваться. Он не задумываясь, пойдя на пользу такой отчаянный жест, разодрал бы на себе кожу, переступил через нее, как он только что перешагивал через белье – посторонний покров, который не возбуждает при расставании ни сожаления, ни даже чувства сопричастности. Он, не колеблясь, поменялся бы судьбами со счастливой глистой, способной к беспроblemному партеногенезу. Он видел себя участником античного Сатирикона, выступая в виде двуполого оракула, из-за которого препираются агрессивные гладиаторы. Разведя руки, как крылья, он расправлял на себе воображаемую фату, недостижимую моргану, тогда как на задворках сознания сызнова запылала досада и разгорелось желание мстить: решено. Он им докажет, она им создаст так называемый прецедент. Она, уловленная в сачок чужой оболочки, получит свое и даст понять, что умеет утолить безудержное влечение не хуже, чем это делает заматерелая куртизанка. Грета завернул кран и сам, в свою очередь, завернулся в банный халат, на звериный манер встряхнул промытой шевелюрой. Он вышел в кухню, распахнул холодильник. В

морозильном отделении застыла говяжья глыба, горбатый кус вырезки, ледяной камень будущего преткновения и соблазна – в таких категориях мыслило андрогинное существо, беспощадно причисленное к презренному и вожделенному роду мужчин. Какое-то время простояв над филе, Грета бережно принял его в руки, отнес в мойку и выпустил теплую воду. Струя получилась слишком горячей; багровое возвышение, угодившее спинкой под водопад, моментально побледнело и сделалось серым; особенной роли это не играло, но Грета разбавил струю, любовался результатом и отступил. В ожидании разморозки он проследовал в жилую комнату, включил телевизор и скорбно, с отвращением, воззрился на подходившее к концу шоу известного трансвестита. Народный артист попеременно изображал звезд отечественной эстрады, выступая в разнообразных платьях и париках. Напевая, трансвестит полизал соски балерунов, потрогал их гениталии, поцеловал зрителей, посидел на руках у какого-то радостного поклонника, морского офицера. Выступление завершилось ликующей песней, в которой на случай, если кто чего не понял, пелось от имени самих зрителей и подводился итог зрительского восприятия: “Нет, мы не зря пришли сюда!” “Так и до полного счастья недалеко, – ответно подумал Грета. – Кто он, этот урод? Обычное, порочное травести – именно так, не смешанного, но среднего рода? Удачливый гомосекс? Вроде того моего знакомого, потасканного и томного субъекта, чье юношеское шило в зад у стараниями случайных знакомых давно превратилось в спираль? Может быть, он – нормальный транссексуал со счастливым билетом? впрочем, как посмотреть. Ни за какие бы деньги, ни за какие коврижки...”

Негодующий Грета вернулся к мойке; кусок мяса оттаял достаточно, чтобы над ним удалось проделать задуманные манипуляции. Грета подвел под мясо ладонь, поставил вторую; перевернул со шлепком, исследовал тонкую фасциальную пленку. “Фасциями внутрь”, – определил Грета, свернул говядину в рулет, всунул палец и несколько раз подвигал им взад и вперед. Палец скользил легко, не задерживаясь. Вооружившись туповатым (нет в доме мужчины, тот бы давно наточил) ножом, Грета высунул язык и аккуратно надрезал кусок справа и слева;

отошел, критически полюбовался хирургическими карманами, остался доволен, взял глубже, пока не образовались две прорези, в которые Грета продел заранее приготовленный ремень. Приняв оба конца, он поднял изделие, и оно повисло: еще не завершённое, но уже обнадеживающее произведение пластического искусства.

“Не натекло бы с этого антрекота, – встревожился Грета и похвалил себя за предусмотрительно купленные прокладки – Неплохо, конечно, из ребра приготовить, но я же не Создатель, я только подобие. У меня, по правде сказать, тоже штучная выделка. Штука выделяется. Ребро никуда не годится”.

Думая, как лучше назвать изделие – суппозиториум, протезом или же бандажом – он положил говядину на разделочную доску, выдвинул ящик, вынул операционную иглу с уже продернутым кетгутом. Но шить не стал: ему пришло в голову, что нужно дожидаться окончательной разморозки – в противном случае вероятно непредусмотренное увеличение полости, престарелая дряблость. “Заверну потуже, как голубец”, – постановил Грета. Он сделал еще один перерыв, подошел к окну. Дождь перестал, ветер унялся. Тучи отъехали на восток; закат был чист и обещал погожее завтра. Грета пробарабанил пальцами по стеклу, как будто дробь могла помочь ему с выбором часа. “Вечером, разумеется – что тут гадать? Отожму, промокну... хорошо бы чем-нибудь sprysнуть. Черт его знает, чем – не духами же, и не рассолом селедочным, получится не рыба и не мясо, – Грета хихикнул. – Лучшее – враг хорошего, а потому останемся при своих. Как есть. Как еть”, – непотребные каламбуры налезали друг на дружку, суетились, поторапливались.

Он прилег, не разбирая постели; сна не было. Перед глазами маячил Слава анфас, превратившийся в собственный фоторобот. Забавляясь, Грета начал приделывать к нему запорожские усы, брить налысо, приумножать бородой, уродовать шрамами, лишать отпущенного Богом рассудка через понижение лба; наделять звероподобными чертами, порочными склонностями – тем, что клал ему под глаза изобличающие тени; обременял бородавками и родимыми пятнами; вытягивал в рыло, расплющивал в блин. Мозговой кинопроектор убаюкивающе стрекотал;

калейдоскопические образы сливались в гнусную ленту, где время от времени выплывало собственное лицо Греты, сподобившееся урвать толику безобразия от предшествующего и толику – от следующего лика; километровая галерея гримасничала, грозила, насмехалась и надмевалась. Грета раскинул ноги, разбросал руки; протяжно, с прихрапом, вздохнул: он спал. С настольного зеркальца сползла тряпочка-шторка, и в ней отразилась половина гретиного лица – приспущенное веко, из-под которого выбивалась наливная полоска яблока; девичья ноздря, раздувавшаяся и опадавшая по-мужицки; кармашек хищного рта: волчий угол с бусинкой слюны; перелетная муха – но уже не вполне отраженная, а живая, бездумная. Стремясь в зазеркалье, она пренебрегла явью и старательно исследовала непроницаемое стекло, не понимая разницы между реальностью и подделкой – вот почему пострадало отражение, тогда как прообраз сохранился незапятнанным.

Новый день – скоропортящийся и к ночи непоправимо увядающий товар-однодневка – был выложен на прилавок времени заранее уцененным: он был настолько горяч и ясен, что каждый желающий мог вкусить от его щедрот без особых затрат. День раздаривал многое и еще больше – сулил; иного же рода расплата, о которой редко задумываешься погожим утром, происходила стремительно и бесцеремонно, ибо касалась невозвратимых минут человеческой жизни. Известно, что лучшие дни пробегают скорее, так стало и с этим; Грета, который не нашел в себе стойкости дожидаться вечерней поры, с полудня бродил по обширному парку. Он видел, что время выходит, а вечер, хотя бы и соблазнительный, вселяет растущее чувство тревоги, если учесть, что за весь день никто из гуляк и зевак так и не клюнул на гретин крючок с питательной белковой наживкой.

Утро было потрачено на усложнение пояса. При помощи дополнительных ремешков Грете Гансель удалось сконструировать устройство, напоминавшее сбрую; от верхней петли, собственно пояса и потому самой просторной, отходили еще две, крепившиеся к бедрам (равнобедренный треугольник) и соединенные с антрекотом через добавочные разрезы. Ремни были не только пропущены в прорези, но и прочно пришиты; закончив работу,

Грета сказал себе, что человеку с воображением, да в придачу вооруженному путеводной мечтой, любой гастроном покажется сексуальным шопом. Всерьез подумывая о последнем, Грета решил-таки отказаться от фирменной продукции не только из-за ее дороговизны, но из желания усугубить грубость замысла, его хамство, его способность причинить дичи сильнейшее моральное унижение, а охотнику, хотя покажется, будто первая и второй поменялись местами, – моральное удовольствие. “Или аморальное? – задумался Грета. – Чепуха. Любое удовольствие аморально”.

Свернутый в кокон, отжаты и подхваченный прокладкой, преображенный антрекот уютно расположился меж гретиных ног; все натуральное, не бывшее антрекотом, Грета завел под главный ремень и для большей верности прихватил скотчем. Он оделся в легкое ситцевое платье чуть выше колен, с глухим воротом, но зато без рукавов. Волосы, собранные в породистый хвост, которым смог бы гордиться любой уважаемый конный завод, ниспадали к лопаткам; на плече болталась декоративная сумочка. В руке, как знак своей доступности, Грета держал початую бутылку пива, но прикладываться к ней старался пореже, памятуя о неудобствах, вызванных скотчем: туалеты не работали, а длительная возня в кустах могла оказаться опасной затеей.

В особенных случаях, а сегодняшний случай был особенным из особенных, Грета не доверял обычной косметике и пользовался гримом. Он полагал, что грим надежнее. Могло показаться, что чувство меры изменило ему – настолько вульгарно размалевал себя Грета, решившийся симитировать даже некоторую похмельную одутловатость, “замять это дело” – так он выразился перед временно обнажившимся зеркалом, наряжаясь. Чтобы выполнить изреченное, Грета действительно смял лицо, с мастерской изощренностью распределил на нем пасту осенних полутонов. Теперь Гретхен и Ганс, взявшись за руки крепче, чем им хотелось, готовы были вступить под полог опасного леса.

И вот он заметил себе кавалеров: двух, как и надеялся, солдатиков, которых вел с момента их вступления в парк, польстившись на неразборчивый голод военнослужащих. У солдат состоялось увольнение, понятое ими чересчур широко. Они попили кваску, скушали эскимо, промчались под музыку на разболтанных

и скрипучих карусельных конях; те, подчиняясь мелодии, несли их как-нибудь-рысью. От летучей свободы солдаты вконец ошалели; солнце доканчивало дело, начатое вольницей: оно нарумянило бритые макушки, распарило щеки и липкие тела, покрытые белым волосом. В проемах расстегнутых гимнастеров болтались опознавательные железки, символ воинского достоинства. Шалые взгляды солдат, их дикие выкрики, преувеличенная разболтанность вкупе с манерой поминутно, будто бы невзначай, оглядываться и сплевывать подсолнечную шелуху, подсказали Грете правильный вывод: никакого увольнения не было; рядовые – судя по многим мелким, но в совокупности убедительным признакам, происходившие из стройбата – ушли в самоволку. Хмельные, смирившиеся с неизбежной расплатой и потому бесшабашные, они горели одним желанием – урвать побольше, вдохнуть поглубже, воткнуть подальше и выпить покрепче.

Дважды случилось, что Грета прошел в непосредственной близости от обоих; он был замечен и удостоился внимания: речь, полная блекотанья, приумолкла, слышались шепот и присвисты, мешавшиеся с жаркими невнятными скороговорками. Его оценивали, к нему примерялись, его заносили в оперативную память.

– Эй, эй, дэвушка, – зашептал один, стилизуя высказывание под говор восточных людей. – Зачем тут гуляешь?

Грета задохнулся – сейчас, когда замысленное могло в любую секунду сбыться, он вдруг оробел. Потратив последние силы на имитацию оскорбленного вида, он шмыгнул в какую-то аллею и смешался с отдыхающими. Мясо билось об ляжки, грим растекался. Слева и справа, словно гигантские велосипедные колеса, вращались кричащие карусели; малыши объезжали пони, бухтела пресноводная музыка, плескали весла, и сквозь листву пробивались яркие солнечные лучи, отраженные мутной водой; солнце садилось.

Грете не нравились эти солдаты. Когда она увидела их впервые, его возмутил их вид. В глубине души она рассчитывала повстречать нового Славу, многоликого и непостоянного протeya, но мир, гроыхавший весельем, катился мимо так резво, что Грете оставалось лишь уворачиваться от колес. Он оказался

чужим для этой шумной, но осторожной, среды; его наэлектризованное состояние сообщалось гуляющим через цепочку неуловимых переносчиков – летучих ароматов и бесконечно распутных телепатических образов. Поэтому Грету обходили стороной, выталкивая из общего потока, словно каплю водоотталкивающей субстанции. С ростом отчаяния Греты росла и готовность сойтись с неприхотливыми воинами. В конце концов Грета дал себе твердое обещание: “В третий раз – будь что будет, как в сказке”. Ведь если вернуться к излюбленным гретиным умозрениям, назревавшие события были под стать идеальному замыслу неба: нечто прекрасное, полностью огрубевшее в падшем мире, не могло не притягивать к себе такие же нелицеприятные сущности. Нити переплетались, лучи сходились в предсказуемом фокусе. “А на что я надеялся? – с огорчением спрашивал Грета у своего лизучего отражения, которое немо тряслось среди цепких кувшинок, подбираясь к туфлям. – Я соглашался на кого угодно, и даже для бомжа не собирался делать исключения, но как дошло до дела, размечтался о рыцаре”. И выругал себя неблагодарной синдиреллой. Он резко повернулся на каблуках, отшвырнул пустую бутылку, поднял глаза: двое высились перед ним, на пригорке; они осоловело ухмылялись, запускали пальцы под широкие и грубые ремни – не чета гретиным. Паутина теней, образованная кустарником, превратила их простецкое обмундирование в престижный камуфляж. Тот, что был ближе, выдвинул челюсть и, не умея подавить восторг, кавалерийски гыкнул.

– Что вы одна тут ходите, девушка, – заговорил он. Некоторые слова без надобности растягивались, подобные строю непуганых новобранцев; другие, более опытные местоимения, сокращались. – Здесь такое место, вы слышали?

– Какое место? – Грета направил ему намеренно робкую улыбку, которую плохо прикрыл напускной заносчивостью – тоже специально.

– Страшное место, – объяснил солдат. – Здесь хищники бродят... вроде нас, – он толкнул товарища локтем, тот сдвинул свои войлочные брови, кивнул. – Но вы нас не бойтесь, мы вас защищать будем. Пойдемте пивка попьем, погуляем...

– Пивка не хочу, – отказался Грета, и это было правдой. – Водочки бы, мальчики, а? Вы всех девушек защищаете? Не плачь, девчонка, да?

Он увлеченно тараторил.

Второй боец, стоявший поодаль, молча задрал гимнастерку, и Грета увидел бутылку, заткнутую за пояс.

– Ну, мальчики – вы, я смотрю, подготовились, – одобрительно протянул Грета и подмигнул, надеясь, что не переборщит. Но солдаты, унюхавшие податливость Греты, уже ничего не говорили, а только сглатывали.

Первый солдат, боясь упустить мгновение, заспешил. Он протянул Грете вареную лапу с наколкой, и Грета доверчиво вложил ему в ладонь свои симфонические пальчики.

– Ой! – Грета притворился, что растянул лодыжку. – Бля, – добавил он тихо, но так, чтобы солдаты услышали, а услышав – поймались на легкость его поведения, прочувствовали в добыче Мясо.

“Мясо идет”, – именно эти слова разобрал Грета еще при самом первом, скользящем соприкосновении с солдатами. Тогда он, помнится, встрепенулся и посмотрел себе под ноги, но мигом смекнул, что слово относится к нему самому.

– Не жми так сильно, – Грета попробовал высвободить руку. Солдат отпустил, но сразу же обнял ее за плечи, подтолкнул. Грета сообразил, что его ведут в неухоженную область парка, где не бывало людей; эта зона граничила с безработной строительной площадкой.

“Может быть, здесь их вотчина, сюда их гоняют, – мелькнула у Греты мысль. – Тогда им тут все хорошо знакомо”.

Второй придвинулся и взял Грету за талию.

– Че ты, че ты дергаешься, – хрипло и быстро проговорил он, хотя Грета не дергался, всего лишь дрогнул. – Мы не кусаемся.

– На, глотни, – бутылка возбужденно переметнулась к однополчанину.

Грета, весьма неопытный в разухабистых действиях, крикнул смазанным криком, послушно приложился к омерзительно теплему и скользкому горлышку, отхлебнул.

– Вон туда, – негромко приказал кто-то из рядовых.

Праздничный шум отдалился; солнце присело за горизонт, как в воду, выглядывало оттуда, подсматривало и выпускало деформированные облачные пузыри. Грету посадили на пыльные доски, втокнули в руки бутылку:

– Пей, подруга!

Солдат, освободившийся от сосуда, не стал медлить и сбросил ремень. Грета прикрыл глаза и втянул звериный, казарменный запах. Боец обмотал ремень вокруг запястья так, чтобы свисала пряжка.

– Мальчики, я вам так дам, – предупредил Грета, ставя бутылку в песок. – Не надо бить.

– Ну, так давай, – заорал второй и повалил Грету; товарищ подскочил на подмогу. Ремень в его кулаке успел завязаться петлей, петлю накинули Грете на руки, заведя их назад.

– Кто тебя знает, шалаву, – объяснили бойцы.

Лежа ничком, Грета вдруг по-настоящему испугался:

– Только не сзади! – выкрикнул он.

Ему показалась невыносимой мысль, что сейчас, когда подготовлены положенные чертоги, с ним сделают то, чего он так старательно бежал, как унижительного суррогата.

– Не ссы – не хочешь сзади, мы тебя сверху, в два смычка, – первый солдат сатиром приплясывал в спущенных брюках: запутался. – Устраивает?

Другой сунул руки под платье, рванул трусы.

– Что там у тебя наворочено, – пробормотал он совсем, как старенькая процентщица, введенная в заблуждение любителем раскольных дел. – Ты хоть чистая, или со вшами?

– В сумке справка лежит, – недолго думая, соврал Грета.

– Жаль! – захохотал однокашник, ибо питались солдаты одной кашей, и все одной. – Сейчас бы цепанули что-нибудь, а завтра – в санчасть! Закосили бы на полную...

Он решил остаться в брюках – лишь расстегнулся и рухнул на Грету, придавил ее, заерзал, замотал стриженной потной башкой, отлавливая верткие гретины губы. Его напарник легонько наподдал ему сапогом в ухо, чтобы убрал голову и не мешал; тот, пригнувшись, уткнулся в накладные дойки – так он обычно называл груди; подельник раскорячился и присел над Гретой,

метя в рот. Грета зажмурился и глухо сказал:

– Нет. От тебя несет козлом. Давай по-людски.

– Она еще голос подает, сука, – изумился солдат и вдруг сграбастал гретино лицо мозолистой пятерней. – Тебе кто разрешил говорить, тварь? Тебе стакан налили? Чего же ты гавкаешь?

Лежавший задержался в антрекоте, пачкая Грету.

– Ща... встану и отойду... – пообещал он сдавленным голосом.

– Да не хочу я после тебя мараться, – рассвирепел приседавший.

– Блядь такая! – Он размахнулся и ударил Грету в глаз, добавил пощечину, вторую. – Бери, сука, пока я тебя не попластал!

Тот, что отстрелялся, стоял на четвереньках и пытался привести в порядок мундир.

– Зубы выбей, еще откусит, – посоветовал он.

– Не посмеет, – солдат сопровождал свои слова новой затрещиной.

– Быстро бери, паскудина!

– Гляди сюда – что это? – Насытившийся, довольный военный служащий взирал на что-то, свалившееся из Греты. – Это чего, земля?

Земля скосил глаза:

– Ты ее порвал всю, мудака, – озаботился он.

Грета, временно освобожденный от пятерни, решил, что пора перейти к заключительной, коварной части плана. Недаром его любимыми литературными персонажами были набоковские стервы, Марго и Лола, которые надругались над своими ослепшими любовниками – сущими гадами и скотами: мужиками, одним словом. Грета набрал в грудь воздуха и пронзительно закричал, переполняемый страхом и радостью. Он радовался тому, что в нем признали особу, по половой принадлежности годную к партнерству; не только признали, но и подобающим образом обошлись. Эта радость не могла омрачиться даже тем подозрением, что курс молодого бойца в строительном батальоне мало чем отличался от происходящего.

– Помогите! На помощь, сюда! Меня изнасиловали! Кто-нибудь, скорее, меня убивают!

– Молчи, ты, – рывкнул солдат, находившийся при голове – рывкнул рассеянно, так как его внимание все больше

приковывалось к непонятному предмету. Повинуясь исследовательскому порыву, он ухватил подол и рванул его кверху, увидел крепления и нечто под ними: набухшее, продолговатое.

– Ох ты, ёп, – солдат медленно отшатнулся, ища рукой какое-нибудь оружие: палку, металлический прут, лопату – естественные поиски любого, кому неожиданно встретился редкий гад, будь то гусеница в боевой раскраске, двуглавая змея или то, что сейчас колотилось в полупритворной истерике. Призывы о помощи сменились неопределенными, угрожающими завываниями; плач походил на хохот.

Второй военный согнулся и разразился всхлипами. Его оглушительно рвало, и он не заметил милиции: та, против навязанного ей полицейскими фильмами обыкновения, прибыла без сирен. Машина бесшумно въехала на площадку, и к брачному ложу бежали сержанты, на бегу вынимавшие табельные пистолеты – тоже двое, но был и третий, начальник наряда, вооруженный автоматом, и этот не вынимал ничего.

– Стоять! Всем стоять! – один милиционер, не раздумывая, ударил плевавшего рядового по черепу, и тот покачнулся, попробовал защититься руками, тогда как нутро продолжало брать свое – точнее, извергать свое. Его спутник хотел убежать, но был мгновенно настигнут и брошен на доски лицом, где оставил протяжный розовый след.

– Гражданочка, вы как? – главный милиционер вдруг осекся, поперхнувшись. Автомат повис и закачался в свободнейшем колебании; все поняв, старший сержант зажал себе рот, но между пальцами брызнуло. Тогда он дал себе волю, и то, что минутой раньше было выплевано преступным элементом, неразделимо перемешалось с правопорядочным ужином.

Грета сел, размазывая по лицу кровь. Милиционер, совладавший с тошнотой, подскочил к нему (нелюдь!), угостил сапогом, съездил по уху, полуприкрытому сбившейся прядью.

– Что ж ты за гадина, – причитал милиционер. – Как же тебя земля носит...

Его испуганные подручные крутили солдат.

– Хромай отсюда... чтобы не было тебя... убью...

– Ничего подобного, – прошамкал Грета расквашенными губами. – Пусть их судят. Они меня изнасиловали.

– Тебя? Да таких истреблять надо, в газовой камере!... ..

– Изнасиловали, – настаивал Грета. – Это преступление. Неважно, кто я.

Сержант притих, присел на корточки:

– Ты это серьезно, мужик? – последнее слово далось ему с видимым трудом.

Грета одернул платье, взял двумя пальцами растерзанный антрекот:

– Извольте в мешочек положить, – произнес он спокойно. – Для экспертизы, как вещественное доказательство. И все побои запишите. И про свои не забудьте.

Парк, докипая суматохой, отступал и отрекшился от приграничного строительства, которое превратилось в арену для событий, не совместимых ни с каруселями, ни с лодочными путешествиями.

В отделении Грета побеседовал с капитаном. Грета уже успокоился и по известной доброте женского сердца был готов удовольствоваться достигнутым, сменить гнев на милость. Но ломался, как свойственно всякой уважающей себя женщине.

– В чем, собственно, дело? – он широко распахнул глаза, втянул остатки кровавых соплей. Вытер рот, и без того чистый. – У меня все на месте, все ладно. Не удивительно, что ребята позарились... Я не таюсь, я женщина, а вы – кто вас знает? Может быть, вы в дамском белье сидите, под формой. Я знала одного полковника...

Капитан сморщился. Но видя, что дело идет к мировой, ограничился пылким призывом:

– Побойся бога...

Этого говорить не стоило. У Греты сверкнули глаза, он передумал.

– К Богу у меня счет, – сказал он и твердой рукой подкатил к себе шариковую ручку.

(с) май – июнь 2003.

Алексей СМИРНОВ. Некаўалар